

Надя Алексеева

Два рассказа

Одарённые девочки

Перед монитором, глядя в глазок камеры, сидит девушка. За ее спиной в кроватке спит ребенок. На плечиках висит большой мужской пиджак. Серый.

«Понимаешь, Марго, я больше всех хотела быть как все, — начинает, включив запись, девушка шепотом. — И когда убежала через заросли борщевика подальше от бани, — особенно. Здесь такие не растут, а тогда ядовитые листья шекотали ноги, потом полотенце упало, ветка хлестнула меня по щеке. Пахнет тиной, кружат мушки. В классе они летают углами. Я слышу его шаги, он сухой такой, подтянутый — идет быстро и палкой разбивает заросли борщевика по сторонам. Снова этот "вжух-вжух". А потом он остановился. В тот момент, единственный раз в жизни, я пожалела, что не уродилась еще меньше. Такой, чтобы он меня никогда не нашел. И тут он, Васюк, хм, Сергей Сергеич, крикнул прямо над головой: "Даша!" Прислушался. И опять: "Даша! Дарья, учти, кругом л-лес, а ожоги от борщевика надо обработать обязательно". Голосом, которого послушаться в школе "ИКС" было невыносимо. Мы шли на этот голос, мы ему верили. Думаю, если бы он сказал мне тогда: "Съешь борщевик и ложись спать", — я бы так и сделала. Не проснулась бы на утро. Но сделала.

Школа "ИКС" не потому икс, что это секретное какое-то видео будет, наоборот. Ты его увидишь. Хотя... Много лет пройдет. А название — аббревиатура, которая понравилась маме моей. "Интеллект, Красота, Совесть". Половина выпускников в МГУ прямым ходом. Даш, ну чего молчишь-то? Кроме того, это тут же, в Ясенево, возить тебя не надо будет.

*Из интервью с сотрудником НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского:
"Прикосновение к нему [борщевик] не доставляет никаких неприятных ощущений. Именно в этом и есть его главное коварство. Ведь после контакта с растением ожог появляется не сразу, а спустя время — через несколько часов или даже дней".*

Надя Алексеева — прозаик, драматург, редактор. Родилась в Подмосковье. Печаталась в сборниках малой прозы «Вечеринка с карликами», «Пашня», в сборнике пьес «Близкие люди». Лауреат международной премии для драматургов «Евразия 2021», участница слета молодых литераторов в Болдино и литературной смены «Таврида.Арт». Живет в Москве и Алуште. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Я тогда еще медленно очень ходила, и сейчас сижу высоко на стуле, потому что подушку подкладываю специальную, для невысоких. Официально я не карлик, если что. Но это все спасибо аппарату Илизарова. Нас там много таких было, в НИИ нашем, курганском, с диагнозом... Ну, с разными диагнозами, травмами. Аппарат выглядел страшно: металлические кольца, штыри, — зато мог сантиметров десять в росте дать, для маленьких это значит, дотянешься ты до кнопки лифта или нет. Я год этот аппарат носила на ногах, потом полгода к старшим классам восстанавливалась. Но руки у меня все равно коротковаты и голова большая. Мама, забирая меня из "Отделения регуляции роста детей", подписывая бумаги, кивнула врачу. Вроде как довольна ремонтом.

Мы с ребятами из палаты общаемся до сих пор. Не со всеми, конечно, у нас группа своя ВКонтакте, с кем-то вижу лично. Они меня на прощанье обнимали — такое теплое-теплое объятие, наверное, тогда я поняла, как обнимают по дружбе, а как — по-другому... Обниматься у нас в семье не было принято. Не знаю, почему, может, мама, смотря на меня, надеялась, что мой рост — какая-то оптическая иллюзия. Дотронешься — а это реальность. Мне только исполнилось пятнадцать, я экстерном окончила девятилетку, прочитывала все, что мама присылала. Она экзаменовала меня из командировок. А я отвечала. Мама и раньше понимала (ну и по оценкам тоже), что обычной, несмотря на все ее связи, я уже не вырасту, умной — весьма вероятно. Я врачом стать хотела... Математика мне не давалась, вот мама на ИКС и вышла. По рекомендации».

Даша слышит плач, останавливает запись, подходит к кровати, качает ее, открывает книжку с картинками, читает вслух: «Туся, Туся! Смотри, это же наша любимая: "Скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые фиалки — тюфяком, а лепесток розы — одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе"». Плач затихает, Даша возвращается за стол.

«Так, ну вот. Из-за восстановления я пришла в школу зимой, а не осенью, как положено. Вообще, в ИКСе не было классов для девочек и для мальчиков, но, так как брали одаренных детей и стоило это все прилично, и методика была новая (некоторые родители побаивались), получилось, что в моем классе одни девочки. Они ходили парами, на каблуках, показывали друг другу какие-то смски. На меня смотрели с едоверием, будто я у них отнимаю что-то ценное. Шушукались, надолго запирались в туалете перед алгеброй или геометрией (их вел директор, Васюк) — накраситься или повторить в тишине домашку. Учились мы до ночи, по университетской программе, на олимпиады-турниры учителя возили нас лично, и мы часто возвращались с призами.

В Конституции школы, которую завуч выдал мне, обняв сзади за плечи, было указано, что у них принято "красиво мыть пол, целоваться и иметь любимчиков", с которых и спрос ого-го. Фамилия завуча была Ягода.

Из Конституции элитной московской школы ИКС:

"Насилие — любое ограничение прав и свобод, любые действия против личности, любое принуждение. Действия, вызывающие применение насилия, должны быть известны заранее, а процедуры применения насилия, по возможности, неизменны".

Ягода встречал нас у входа в школу. И целовал в щеку, часто промахиваясь. В моем случае, как он ни нагибался, мясистые красные губы попадали лишь в лоб.

Он называл учениц "мои ласточки" и просил, чтобы ему рассказывали о всех делах с родителями, ведь дома нас не понимают, потому что родители — обычные, советские, а мы — "одаренные девочки". Ягода играл роль школьного психолога. Когда мы с Риткой мыли пол, — она приносила воду, ведро мне было не поднять, — пришла смска от Ягоды: "Дашенька, срочно в мой кабинет на беседу". Ритка заглянула через плечо: "Не ходи". Она не красилась к алгебре, не носила каблук. От линолеума, который я натирала старой тряпкой, пахло гнилью.

В ИКСе училось всего полсотни человек, 8—11 классы. Следующим утром Ягода был не в духе, собрал линейку и говорил о том, что мы — избранные среди избранных и должны поддерживать традиции. "Если не научитесь дружить, нашу семью придется покинуть. Мне искренне жаль такое говорить, но это так". И тем же днем Ягода принимал в своем кабинете и моих одноклассниц, и параллельный поток. Еще на линейке я отметила, что мальчиков в ИКСе совсем мало, и их кумиром был Васюк. Основатель, в прошлом крутой программист. Вот... Васюк настаивал на том, что мы взрослые люди, которых следует оградить от родителей: "Инфантилизм — вот чем болеет ваше поколение. Ну, н-ничего". Он обещал дать нам свободу, которая встанет аж поперек горла: запрокидывал голову и ладонью бил себя под бородой. Знаешь, Марго, а ведь мы аплодировали».

Даша усмехается без радости. Ребенок за спиной фыркает, хрипло плачет. Даша вскакивает, одной рукой качает кровать, другой держит книгу, читает со случайного места и показывает ребенку картинки: «Тусь, смотри, какой важный крот!» Читает: «Крот взял в зубы кусок гнилушки — она ведь светится в темноте — и пошел вперед, освещая длинный темный коридор». Ребенок засыпает. Даша стоит над кроватью, возвращается за стол, кладет книжку рядом с собой.

Из родительского чата ИКСа:

Mich1980: Подскажите, пож, вы Кате репетитора брали по математике? Че-то наша не тянет...

Oiga: Да мы не брали, у нее с СС хорошие отношения, думаем, пройдет по Всероссу. А ваша, что, не дружит с ним?

«Да, Васюк. О нем сложно так говорить... Особенно с тобой. Свитер колючий, заикался слегка, цвет глаз я не помню. Взгляд такой... Знаешь, я ночью еще открыла фотографии школьные — ведь он был выше меня едва ли не на две головы...

Васюк мог кивнуть любой девочке в классе, и та становилась знаменитостью. К ней сразу приглядывались другие учителя, одноклассницы норовили подсесть к ней в столовой, копировали ее стиль. Девочки еще росли, у них круглились формы, на них красиво сидели юбки. Клетка и шелк были в моде. Мое тело выросло, сколько могло, и все, застыло, становясь лишь более рыхлым от конфет. Мы бесконечно шуршали фантиками под партой, и Васюк не цыкал. После новогодних каникул красавица Катя сказала, что Васюк занимался алгеброй с ней лично на даче в Лесуново. Девчонки тут же увели ее шушукаться в туалет. А Васюк, появившись в классе, погнал к доске новую "любимицу". Он начинал урок так: "Итак, представь, что на Земле..." Расхаживал вдоль доски, за ним вертелись головы — одуванчики за солнцем. Он выстраивал программу для "человека универсального". Думаю, по его лекциям и ты могла бы сейчас учиться».

Дернувшись, Даша останавливает запись. Пытается обрезать видео, но программа зависла, не отвечает, потом запись перезапускается сама.

«В общем, ладно. К маю я провалила пробный ЕГЭ по математике. Васюк оставил меня после уроков и, устав объяснять, взял за руку, подвел к стене и стукнул о нее головой: "Зачем тебе голова? Зачем тебе голова?" Я не чувствовала боли, только ненависть к себе, что я его расстроила. И теперь не буду среди любимчиков. Хоть раз, как все... На стук из соседнего кабинета заглянул Ягода. И тут же вышел. Больше мне не приходили его смски.

На родительском собрании (они редко, но бывали), один отец сказал, что его дочь домогался кто-то из учителей. Васюк публично проверил рейтинги (оценок у нас не ставили): оказалось, девочка в самом низу, и ее "тянут" по всем предметам. "Вот и я говорю, фантазерка. Жаль, ты не видел. Что? Ой, да бука, такая же, как наша, потому и злится, — смеялась в трубку Риткина мама. — А он, прикинь, забрал документы, грозился привлечь еще всю эту "богадельню". Н-да, яжотец, не иначе. Куда она теперь поступит?"

Еще до летних каникул Катьку положили в больницу — перитонит. Васюк объявил мне и двум отстающим, включая Ритку, что мы едем к нему в Лесуново заниматься алгеброй. Дачные семинары директора были в порядке вещей, а в сентябре мы всей школой собирались в Крым: изучать историю не по картам, — и после уроков мы радостно шили спальники, куда влезало бы трое. Мама страшно гордилась, что за меня взялся такой Учитель, и сама отвезла в деревню. Помню, был дождь, дорогу развезло, и Васюк вытолкал мамин BMW из лужи.

Лесуново... Дома в деревне съежились на фоне могучего леса. Опушки стерегли зонты борщевика, всхлипывали в лесу болотные звери. "Какой воздух, не хочется в город", — сказала мама, подняла стекло в окне машины и уехала.

— Ну что, р-располагайся, — сказал Васюк, провозжая меня мимо дома на задний двор. — Лучше давай-ка в баню.

— Как в баню? А алгебра?

— В бане позанимаемся. Представь себе, как при высокой температуре разжижается кровь и работает мозг. Ты же сечешь в биологии.

— Э-э, ну, наверное, да.

— Ноу-хау мое. На себе опробовал. Д-да ты не тушуйся, все ребята ко мне приезжали, работали, потом мылись, в доме же душа нет. Девочки, потом мальчики. Шторку видишь?»

Даша останавливает запись, хотя ребенок спит. Опускает голову на руки, потом читает сама себе: «Куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог». Молчит. Запускает запись снова и говорит очень быстро.

«Баню эту его первые выпускники строили. Там пахло березой, горела лампочка, шторка отгораживала душ. Мы в полотенцах — я по грудь, он по пояс — сидели в парной и решали задачи. Точнее, я решала, а Васюк то выходил, то заходил. Я стеснялась своих ног: они, короткие, розовые, не доставали до пола. Соображалось мне и правда лучше — Васюк сел рядом, касаясь моего плеча загорелой жилистой рукой, ставил галочки зеленой ручкой (красная убивает креатив, ею не пользовались в ИКСе), потом похлопал меня по плечу, сказал, что "из меня выйдет толк". Я расслабилась. Точнее, нет. Я была счастлива. Вдруг показалось, что я под защитой. Я в семье.

в его свитере и понимала, что он не мог быть в той бане. Просто вот не мог. Уроки заканчивались, я сидела в пустом классе. Ожидая... Да не знаю даже. Васюка? Васюка, который сядет рядом за парту и скажет: "Даша, да проснись ты! Ничего не было. Ты просто стала лучше понимать алгебру. В-вот и всё". Однажды, пока я так сидела, простучали по коридору каблуки, а за ними еще шаги. "Рит, отвали, а? Только я с родителями утрясла всё". Катька! Потом я услышала свое имя, точнее, не услышала, а узнала, что ли. Узнала — и тут же взяла стойку, притихла. До выпускного Васюк пришел ко мне в класс. "Такая ты маленькая", — говорил он...

Помню, как у школьной ограды меня поймала за локоть женщина с дочкой: "Ты здесь учишься, да? Ну как? Стоит ли нам поступать? Ой, это директор там? Такой приятный?" У входа Ягода встречал всех поцелуями. Он коротко постригся, модно так было, что ли. Получилось, как со школьным газоном в августе: пока его не скосили, видно не было, насколько жухлая на нем трава. Теперь о завуче девчонки говорили с усмешкой: "Опять Ягода полезла".

«Нет», — ответила я женщине.

Из правил «Школы приёмного родителя»:

Если родитель знает, что факты насилия над ребенком были и скрывает это, он становится соучастником.

После выпускного я отписалась от всех одноклассников, учителей, рассылок. Переехала в общежитие, а потом и сюда, в Курган. Девятиэтажки, серые на сером, меня успокаивали. Нас с тобой. Васюк женился на учительнице литературы из ИКСа — я ее не помнила. Мама прислала скриншот из родительского чата, в котором все еще числилась, с подписью: "Не забудь, поздравь хоть! Господи, какой же мужчина! Эхх". Теперь она только деньги присылает. На фото я впервые увидела Васюка в пиджаке, платье невесты было с серебристыми полосами — словно она в моем аппарате Илизарова застряла целиком.

Вчера звонок с неизвестного номера. Катька. Красавица Катька, только голос хриплым очень, какой-то прокуренный. Я никак не могла понять, чего она хочет.

— Знаешь, ты не одна такая, — говорит Катька. — Я про баню.

— Не понимаю, о чем ты, какая баня?

— Меня Ритка просила набрать. За тебя переживает, нашла журналиста, который взялся. Ладно... Слушай, и я там была. И дома у него была... У Васюка. И у Ягоды. Мы с Риткой чат создали в телеге — тебя добавили. Видела?

— Извини, мне... мне пора! Спасибо, что позвонила. Я...

— погоди. Я хочу, чтобы ты тоже записала видео, рассказала, как было всё. Я записала журналисту этому. Говорит, когда нас двое хотя бы, уже можно что-то сделать с ними.

— С кем? Я не понимаю.

— Мне... Мне не верят!

— Ничего не было.

— Было. И сейчас есть. Туда каждый год поступают. Одаренные! Как мы.

— Кать, ты извини, ладно? Мне, это, пора мне, — и правда слышу твой рев за спиной.

— А ведь у меня был аборт тогда, весной, — говорит Катька, вдали шелкая зажигалкой.

Я нажала на отбой, взяла тебя на руки, качала. По телеку на беззвукe шел ролик про лангуста, который отрезал себе клешню и выбрался из кипятка. Потом ты заснула. Потом папка наш с работы пришел».

Даша снимает пиджак с плечиков, укутывается в него, как в халат, вдыхает у воротника, гладит ласточку на картинке в книжке: «Знаешь, я сегодня так вот и уснула над твоей кроваткой. Папка наш в одной рубашке ушел, а ведь осень. Хороший он. Не стал будить».

Из чата «Одарённые девочки»:

Kate: Дневники свои откопала с 9-го. Получается, сначала поцелуи Ягоды в кабинете меня не травмировали — придали уверенности в том, что я такая красивая. Я вообще его бойфрендом считала. Еще тут валентинка есть от него. Красная такая. Сфоткать?

«Врешь ты все, Катька, и Ритка тоже врет. Чего вас разобрало сейчас? Полкласса в чат привели, родителей добавили. Фантазерки. Чего вы хотите-то? Никто, даже сам Васюк, вас уже не сделает обычными... Излечил от инфантилизма, как обещал. Поступили туда, куда хотели. А ласточек, которые девочек спасают, не бывает. Есть только матери.

Послушай, Марго, я не могу ничего с ним сделать. С ними сделать, со школой, с системой этой. Ты, наверное, обвинишь меня, когда согласишься. И время будет другое».

Даша обнимает себя руками крест-накрест, зажмуривается и говорит куда-то внутрь себя.

«Или все раньше как-то вылезет. По сроку подсчитают. Я, как про тебя узнала, и не думала ничего такого, как Катька. Только бежать. До тебя оболочка жила вместо меня: ни ног, ни рук — ветер внутри. Обжигающий ветер, колючий. Врачи говорили, что с моими особенностями и рожать-то "под вопросом". Но ты справилась, я на тебя смотрела и гнала мысли про то, чьи там у тебя глаза. Ты обычная и ты вырастешь, как все. Я буду защищать тебя. От отчима, если придется. От борщевика. От всего, что детям не по силам».

Даша подводит курсор к кнопке «Удалить видео», думает. Нажимает на «Сохранить», закрывает к видео доступ и удаляется из чата «Одарённые девочки».

Кассиопея

Осенью над Крымом в зените Сегин, Рукба, Нави, Шедар и Каф — звезды Кассиопеи. Постоят буквой «W», точно две руки, встретившиеся большими пальцами, а потом и повернутся вверх тормашками.

Сегин

Сегин понял, что натворил, едва самолет взмыл над Иркутском. Голубое утро, внизу мягко светится Ангара с гребнями мостов. Шесть часов назад он стоял перед табло вылета, названия мест, которые ничего не значили, мигали, сменяя друг друга среди тиканья колес чемоданов, запыхавшихся фраз и чужих духов. Женщина тянула за руку ребенка, приговаривая, чтобы поторапливался, иначе папа улетит в Крым без них. На малыше была огромная кепка, державшаяся на оттопыренных ушах. Сегин развернулся, пошел в кассу, взял билет до Симферополя. Казалось, впервые за много часов выдохнул.

Теперь ему лететь весь день, да еще с пересадкой в Москве, но дальше места от ледяной глади Байкала он бы и нарочно не придумал. Прочь от кривых берез и кустов, что висели на склонах альпинистами и держали листву, пока Сарма не срывала летние одежды, не уносила их бог весть куда, бранясь, швыряя о скалы. Так вихрь швырнул и его отца. Лодка дрейфовала у скалы, вода была спокойная. «Хоть цвет глаз своих изучай», — говорил потом друг отца, спешивший берегом занять место на веслах. Тьма поднималась за склонами — пологая, сизая, как новая гряда гор, она обрушилась ураганом: дождь, брызги разметались по сторонам, с дороги в кювет снесло чью-то машину. Потом волна раскрыла пасть и проглотила берег. Хруст, вой, тишина. Отца с проломленным черепом выбросило на сушу, с карликовой березы на отвесе скалы струйки воды стекали обратно в Байкал. Когда гроб опускали в землю на старом кладбище, Сегин был уже далеко.

Сегин вышел из аэропорта во влажный совсем летний вечер, влез в подоспевший автобус. Рядом села женщина: кругляши рук, пышная грудь, стрижка каре. Розовая, как на зимнем закате, она смотрела в окно, развернувшись в сторону от Сегина, чтобы не прижаться бедром. От нее пахло одуванчиками. Горчинкой. Разговорились. Ее звали Нави, и она не собиралась на пляж или в горы. Она пишет книгу, роман про садовника Воронцовского парка — того, что в Алушке. Немца Шедара. Ночью непременно спрячется в парке, чтобы послушать, как звенят цикады и пищат летучие мыши, чем пахнут секвойи, какого цвета кипарисы, когда их вершины подпирают Млечный путь.

— А вас не выгонят? Ночью-то?

— Спрячусь, в самолете проштудировала все тропки-закоулки. Понимаете, мне важно даже то, где в полночь стоит Кассиопея: над башенками дворца или над заливом?

Говоря, она часто моргала, облизывая губы. Останавливалась, чтобы улыбнуться Сегину. Тогда влажно блестели ее зубы, приподнимались брови, лицо становилось проказливо-виноватым, как у детей и кошек. Захотелось обнять ее, провалиться в ее чудной мир с садами под звездами.

Когда был подростком, мать запирала Сегина, когда тот огрызался. В отместку он копался в ее вещах и как-то нашел старые письма отца. В округлых буквах с лихими

петлями жил отцовский дух, слова сплетались в лакомые для мальчишки узоры. По подвесным мостам, которые строила отцовская бригада через сибирские реки, первыми пробегали лисицы, заплывав, строители находили путь по небу, ребром ладони сводя Большую медведицу с Кассиопеей, а как-то раз к их лагерю вышел волчонок, совсем щенок, его мать подстрелили охотники. Зверя везли с собой до Красноярска, потом отец передал его в зоопарк, на руках отнес. Эти письма и сейчас лежали в съемной квартире Сегина, бумага на сгибах стала мягкая, тряпичная, а растекшиеся голубые круги, словно чернила покропил дождь, изначально были на листах.

В детстве Сегин отца видел редко: кроме экспедиций у того были друзья, встречи, неотложные дела. Его появление дома равнялось празднику: мать, подкрашенная, в новом платье, брала на работе отгул, выдавала Сегину амнистию, кусок торта с розочкой, а в выпускном классе — бокал красного вина за столом. На пенсии отец пропадал на рыбалке: тянул омулей из Байкала, дома мать их оглушала, чистила, жарила, без конца убавляя и прибавляя огонь... Сегин откинул волосы со лба, спугнув образы в памяти, взял Нави за руку, пальцы перепутались. Нежная рука, за которую можно удержаться тут, где небо дышит летом. Он пообещал, что придет в парк искать Кассиопею вместе с ней.

Снял комнату прямо у автовокзала Алулки. Огляделся, принял душ и отправился в парк. Шагал быстро, разгоняя кровь, пряча все, что кружилось в голове, подальше, как заталкивал, по-холостяцки скомкав, белье в дальний угол шкафа: когда-нибудь оно выпадет, не сейчас.

Свернул в переулочек. В байковом халате, опираясь на клюку одной рукой, другой — цепляясь за облупившийся штакетник, шла старуха. Желтый фонарь обозначил пустой взгляд, скорбь размякших губ. Казалось, старухе снится сон, из которого не выйти. Сегин задумался, не пройти ли мимо, и, устыдившись своих мыслей, подошел к ней.

Рукба

Вчера Рукба уже упала с крыши. Пролетела по горячему шиферу, ударилась о бутылку, которой сосед накануне швырнул в своего брата. Они никак не могли поделить отцовский дом, пристроенный вплотную к дому Рукбы. Вечером братья напивались и дрались, утром, обнимаясь и пошатываясь, тараща глаза, как глубоководные караси, шли опохмеляться. Надеялись, что Рукба скоро умрет и, так как родни у старухи не было, они разъедутся в разные дома, где каждый заведет свой порядок. Рукба зажила, в восемьдесят шесть лет она, хоть и не могла шага ступить без трости, нагибаясь, укладывала обе ладони на пол. «Потому что я занималась с детьми, — сказала она Сегину. — А ноги не держат». Она уже не стеснялась тела, ставшего по старости бесполом: показывала Сегину синяки на бедрах — черные, пятнистые, с фиолетовой каймой.

Сегин свернул в Холодный переулочек случайно. Кривые татарские улочки Алулки прятали свои лестницы и потайные тропки от чужих глаз. Особенно от таких, капельку раскосых, что привыкли к степям, где все на виду, да буря сбивает с пути. У ее сына были такие глаза — полумесяцами. Не восточные, нет, но в острых углах что-то особенное, гордое. Осужденный за драку, он трижды бежал из тюрьмы, его возвращали.

Рукбе хотелось верить, что сын умер по несправедливости, а не от туберкулеза в сырости камер.

— В гробу у него было такое лицо, будто снова сбежит.

— Чем вам помочь? — Сегин теребил очки от солнца, которое давно село.

Среди передавленных синих плодов, прислоненная к фиговому дереву, стояла лестница. Рукба попросила Сегина влезть на крышу и позвать ее кота. Его, пушистого, одноухого, подрали бродячие собаки. Набросились стаей, он отбивался и выл, волоча заднюю лапу. Подбородок Рукбы часто затрясся, слезы катились по щекам и впитывались в воротник халата: «Я вчера расковыряла дырку в шифере, он там, там, под крышей, да выходить не хочет. Позови его, помани, детонька. Без сил он, но очнется, помячит тебе. Не поднимусь уже сегодня». О сыне она рассказывала с сухими глазами.

Рукба смотрела, как парень влезает на крышу, ступает по шиферу, заглядывает в отверстие — кота нет. Зовет, садится на доску, где вчера она сама звала кота до рассвета. Потом Рукба привалилась к стене дома, опустилась на скамейку, запахнула халат. Сентябрьская ночь взяла ее под руки и, как арестантку, потащила прочь из Алупки. До сахалинских скал, желто-зеленых, покрытых мхом, в надежде согреться у ледяного моря.

Нави

— Я не понял: в книге они будут счастливы?

Автовокзал Алупки — маленький домик приятного цвета. Сегин сказал, что снимет комнату прямо напротив, показал окно, к которому еще не подходил. «Жилье! Жилье!» — торопило объявление при входе. Постояли, он перебирал ее пальцы. Он присвоил ее руку еще в автобусе, на полпути из аэропорта — безобидный жест интимнее поцелуя. Обменялись номерами телефонов. Нави не запоминала ощущений, после собирала его мозаикой: глаза с острыми углами, тонкие пальцы, джинсы. Лет на десять ее моложе.

Сюжет ее романа прорастал. Шедар, садовник, был тогда молод и, по записям графини, хорош собой. Графиня пресытилась ровным, как метроном, сановным ритмом жизни мужа и позволила себе получить счастье. Хотя дневник Шедара не нашли, а ушел он так рано, — у графини на всю ее долгую жизнь остались его признания: кружево платанов, каменный водопад и тенистые закоулки, первая в Крыму аллея пальм. Пальмы Шедара удержали осанку на двести лет. А теперь глядели ветеранами с серой, перевязанной листвою. Проходя мимо, Нави услышала, что утром придут их спилить: «Кипарисами засадим — возни меньше».

«Самое страшное, что они уже счастливы», — подумала Нави. Были счастливы. Теперь им придется платить: скандалом, а, скорее всего, — отчуждением, тишиной. Вчера муж подал Нави руку из машины, глядя строго в сторону, точно египетская фреска. С кем-то задерживался по вечерам, забывал позвонить. «Милочка, за завтраком я до сих пор вижу мужа в военном кителе, с бровями вразлет и синевой щетины», — престарелая актриса разоткровенничалась с ней в интервью. Нави видела седину висков и заляпанные очки. Он рано уходил спать, она читала по ночам на кухне, якобы материалы для книг. А много лет назад мужчина в сером пальто и девушка в красной куртке сидели на скамейке у пруда, упустив последнюю электричку, целовались и, скорчив бессонным городским уткам остатки ватрушки, тянули вино из горла.

Подмерзший осенний лист пах огурцом. Рассматривали редкие желтые окна и одинокий, до ужаса черный силуэт женщины в халате. Тогда он обещал, что у них все будет иначе. «Не выдумывай», — ответил муж, когда Нави вспомнила это в аэропорту. В конце интервью актриса вывезла с ней попрощаться старика на коляске: перекошенный рот и мертвые колени под пледом.

Парк укрыло тенью, запахло северным лесом. Нави не надевала теплый балахон. Сидела в майке и поводила плечами в приятной дрожи, уже не прислушивалась к шагам графини, хотелось быть самой. Вот-вот начнется свидание, которое никто не назначал. Стихали людские звуки, охранники скрипели воротами, проходили мимо, шуршали рации. Она спряталась за валуном в Большом хаосе (глыбы, миллионы лет назад вырвавшиеся из недр земли, образовали в парке холмы и гроты) и молчала в диктофон. Подняв голову, увидела созвездие «W» — царицу Кассиопею, смотрящую с трона. Центральная звезда разгорелась и снова обернулась голубым льдом. «Со дна Байкала все звезды голубые», — кажется, так он сказал? Нави проверила телефон и заторопилась к Чайному домику.

— Надо дожить, — ответила она Сегину про счастье.

В ответ он надел очки. Зеркальные.

Шедар

«19 сентября 1835 года. Завел дневник, чтобы упражняться в русском. Рука не слушается, выводит по-немецки. Анна спит, дети тоже.

Сегодня графиня отмечала День рождения. Экипажи путались на подъездной дороге, с кухни тянуло паленой свиной шкурой, винодел набивал ящики сотерном, хересом. Дом дворецкого заняли музыканты из Петербурга. Надутые. И я по этикету перчатки натянул — показывать парк. Руки-то — высушенные летом, в занозах, еще более — в чернилах.

Неделю тому из Одессы прислали десять мальчишек обучаться у меня садоводству, на одном — штаны новые, но велики слишком. Наверное, воскресные, отцовские. Обрядил всех в татарские шальвары, по скалам лазать в самый раз. Да еще с факелами — задумал я подсветить парк до самой яйлы, чтобы с моря как камень в оправе смотрелся. И дальше прудов гостям не показывать, не время. Большой хаос не готов: надо убрать мелкие камни, оформить вершину соснами, выйдет точно водопад из валунов, струящихся с гор. Отец не любил подходить к хаосу близко: "Горы наизнанку — негоже человеку видеть такое". В Зигмарингене он сам строил декоративные нагромождения, камни приносили крестьяне с соседних пашен. Простые серые валуны. Эти не сдвинешь — зеленые, с кровяными прожилками магмы, пролившейся миллионы лет назад.

Вчера с Петей осматривали хаос со свечой, выбирали место под факелы, поднялся ветер не по сезону, посрывает листья с земляничника, остались мы в темноте. Меж камнями и звездами, будто в космосе. Петр прижимается ко мне, читает уже по-немецки бойко, углядел букву «W» в созвездии. Я бы отцу такого не посмел рассказать — нам с братом полагалось в почву смотреть, лебеду выбирать, розы высаживать, где укажут. До сих пор руки отца помню лучше, чем лицо. Даже когда он в лодку садился, тут же в бухте, он все показывал, где что посадить. Вдруг отвернулся

резко, закивал татарину, что на веслах, заторопился. Лекарств не признавал, говорил, что ему, "сорняку", делается: "Не умереть бы на чужбине".

Я все занят Нижним парком — место открытое, приморское. Отец, бывало, стоит тут с трубкой, задумается, склонив голову под указаниями графини. Как дождь, она кропит-чарует всех без разбору. Вот и старик, едва прошуршит платье по дорожке, крикнет, затынется табаком, точно изгоняя беса, и потом скажет проходящему с тачкой мужику: "Все морозами пугают, да тут в пору пальмы сажать!" Мужик заторопится, приняв немецкий за нагоняй. Отец усмехается.

Вчера Гартвис привез пару лебедей из Никиты — пустили в пруд, всех чураются, кроме Петра. Гартвис советует сажать пинию, итальянскую сосну зонтиком — пальмы померзнут».

Каф

Лысину, оставившую ему по пучку волос над ушами, Каф спрятал под вязаной шапкой. Он знал, что комета уже ничего не изменит, но ждал ее. Межзвездную, летящую зигзагами с пламенными вихрами вслед за отсеченной головой. Так будущая жена, историк, у давнего костра обрисовала космос глазами древних греков. Симеизская обсерватория тогда была в силе: давали темы на исследования, получали гранты, бились за очередь публикаций. Каф, молодой астрофизик, кандидат наук, взялся за туманности Кассиопеи. Астеризм в виде буквы «W» окружали два облака: «Сердце» и «Душа».

Сегодня в чередѣ полученных на старый телескоп астрофотографий он углядел хвост и зигзаги траектории — по волоскам на руках пробежал ветерок. Обычные метеоры и кометы летят округло, а это, значит, — гостья. «Не спугни», — прошептал себе. Чтобы спугнуть такое небесное тело, нужно быть по меньшей мере Юпитером. Захотелось коньяку. Старый завлаб, когда еще три мощных телескопа не увезли из Симеиза в Научный, в «настоящую», как шутили коллеги, Крымскую обсерваторию, держал во дворе в бытовке ящик армянского коньяку. По глотку полагалось за открытие (всем: и открывшему, и сочувствующим). Но! Лишь когда все запросы отправлены, а ожидание ответа о том, не открыт ли этот объект лет сто назад каким-нибудь поляком, «крайне невыносимо». На работе не пили — чувствительные телескопы сбились даже от тепла человеческого тела.

Каф собрал снимки и графики, крутил их, пока не почувствовал во рту холодок металла. Сгрыз карандаш. Если данные, которые он отправил в Центр малых планет, подтвердятся, то небесное тело навеки свяжут с его именем. А пока хвостатая звезда из другой галактики отчаянно искала что-то среди робко кружащих метеоритов, натыкалась на невидимые преграды и сгорала сильнее. Дотла.

«Дотла», — она так и сказала. С хрустом влетали в ночь искры ее костра, тени толпились у скалы, от рыжего листа, угодившего в пламя, поднимался пар. В горке углей запекались черные камни картошки. На той девушке были перчатки без пальцев и красная куртка. Когда десяток астроснимков вышел засвеченным, Каф не мог понять, в чем дело. Обсерватория — на горе Кошка, вдали от троп, найденных туристами с вездесущими фонариками. Да и октябрь — пора бы честь знать. Кассиопея в зените, его смена, за пять часов тьмы можно горы свернуть. Девушка, напротив, была рада гостю:

— У стен обсерватории — лучшее звездное небо, да? Хотите картошки?

— Эээ, нет, спасибо, — пока Каф думал, как ее спровадить, она палкой отпихнула угли, нечаянно проткнув картофелину, рассыпавшуюся золой.

— Дотла! — смех разлетелся по горам. Она смеялась ритмично: пять-три-два — он подмечал это и годы спустя, когда она по телефону убеждала мать: с ней все хорошо, она временно не работает и просто плохо спит по ночам. «Приезжать? Не надо. Пью таблетки. У тебя ж там очередь. Вот и помогай страждущим». Короткие гудки.

Девушка любила одиночные походы с палаткой — только сейчас Каф заметил зеленый брезент. Вспомнил, как первая любовь, Нави, пеняла на его невнимательность. А девушка уже чертила зигзаги по своему лагерю: то искала чай, то котелок, вытряхнув рюкзак Кафу под ноги. В этом хаосе она умела пристроить любой предмет к делу: лаванда, сухая веточка — в чай, ванильные сухари, разогретые на огне, пахли как воскресный пирог, а сам Каф — точно шагнул в кинозал, где Кассиопея все смотрелась в зеркало, а ее муж спрятался за свежей газетой вместо того, чтобы поговорить с их общей одинокой дочерью. Девушка-историк устроила Кафу поход — достаточно лечь на спальник, смотреть, слушать. Ее голос и ночь. Ночь. Каф и забыл, как подмигивают звезды без оптики.

Когда оборудование и весь состав обсерватории из Симеиза переехал в Научный, Кафу с женой предоставили там домик. Каф обзавелся брюшком, малозаметным, как это бывает у высоких и жилистых, начал лысеть — повесил зеркало в ванной под наклоном: удобнее маскировать просвет на макушке. Ее диссертация по мифологии не двигалась с места, у него множились исследования, выходили публикации, появились ассистенты. Приходя домой, он торопливо ел, развалившись на тахте, со скукой успешного ученого рассуждал, почему туманность Сердце съеживается, а Душа меняет цвет, становится бледнее. Она слушала, задержав внимательное выражение, как бывает перед фотографом. Вздрагивала, когда он рассказывал анекдот, включалась со своим считанным смехом. Со временем смех прекратился.

В Научном дружили семьями, и Каф таскал жену в гости — развеяться. Она все время держала его под руку или за руку (под столом), точно в переполненном автобусе. Приехал ее отец, советовал вернуться в Симеиз, поближе к ним, жившим в Алушке: «Мать — косметолог, но все же врач. А небо — везде небо». Торопливо обнял дочь, ночевать не остался.

В Симеиз Каф с женой вернулись спустя год. Умер старый завлаб, профессора делили его место, как волчата. Потом жену Кафа нашли под лиственницей в одной ночнушке: взглядом, в котором отражался предрассветный туман, она смотрела перед собой, не помня, где живет. Кафа прочили в заведующие, но слухи с жестокими деталями сделали его «нежелательным». Прощаясь в Научном, коллега, который стал будто выше ростом, трепал плечо Кафа: «Все, что ни делается, старик, сам понимаешь. Возьмешься за книгу, обобщишь исследования за десять лет».

В Симеизе Каф стал кем-то вроде дворецкого. Навел порядок, сменил в телескопе линзу, покопался с трубой — фотографировал, целясь в метеориты и кометы. В туманности Кассиопеи засосало столько лет его жизни, что он, как мог, оттягивал работу над книгой. Новые объекты, пролетающие мимо, давали странную разрядку. Дома он появлялся сменить одежду, взять записи из ящика, переговорить с сиделкой жены.

Ждать известий о комете в обсерватории было неважно. Дома жена, молитвенно сложив руки над письменным столом, удерживала на них голову

с остриженными кое-как волосами. Они торчали кверху, костром в свете лампы — тем, что заслонила ему когда-то звезды. Ее тело в черной майке стало узким, как сгоревшая спичка. Каф обнял ее. Молчал. Не отпускал. Укачивал. Говорила, что живет во тьме, от которой по утрам ломит глаза, натывается на стены, а там часы ни с места. Звезды одолжили его на год, а потом забрали навсегда. Плакала взахлеб, без ритма.

Утром они еще спали, обнявшись, когда пришел ответ: это межгалактическая комета 01/Petri, открытая Яном Петри, Польша, 1935 г.

Шедар

«В прошлом месяце почты долго не было, слуги шептались, что ее специально задерживают, чтобы праздник графини прошел без волнений. Волновался дворецкий, граф был бледен и плотнее сжимал тонкие губы. А она — белое бархатное платье, как шкура молодого козленка, в маленьких глазах свет факелов — высится статуей у лунного пруда, окруженная своими гостями и скалами. Вскрикивает лебедь. Визжат шутихи, взмывают огненные змеи, вступает оркестр, укрытый мной в земляничнике. Ухожу тайной тропкой через хаос. Весь день искал, где бы от людей спрятаться.

Когда письмо дошло, Анна его не вскрывала, но уснула, обняв детей. Все втроем в одной постели. В письме кратко: отец умер, покоится в семейном склепе. Брат с женой молятся о его душе. Мать теперь живет с ними. Посылает благословение.

Которое утро больно вставать. Еще не разомкнувши век, вспоминаю, как это — быть главным садовником Южного берега Крыма, как вести себя, что сказать графине, какое дело мальчишкам поручить. Ночью не спал, переделывал план Нижнего парка, расставил платаны и пальмовую аллею — положил в конверт, надписал его по-немецки. Вспомнил... Так и лег спать с синими пятнами чернил на ладонях.

Утром Анна варила кофе. Жженный дух, от него глаза щиплет — отец высек меня в детстве, я свечу забыл и спалил его парик. Рука с хворостиной мелькнула, спину обожгло. От обиды ревел громче, чем болело. А помани меня отец этой розгой туда, где бы ни был сейчас, побегу хоть по чудовищным мшистым валунам хаоса.

Наставления отца, как вести парк, перестали приходить пять лет назад. Потом он слег, и мать писала за него, все больше от себя: спрашивала об Анхен, о внуках. Я отвечал, что Луиза белеными локонами похожа на немку, а Пётр — совсем русский, с душою нежной, паутинчатой. Хочет быть моряком (и я хотел). Отец передал нам с братом ремесло, как вешают на шею гармонику, окунул наши пальцы в землю, научил инженерии и ботанике, ограждал от соблазнов. Увез меня в Алупку строить графу парк, чтобы не дать жениться на Марте, дочери капитана, и еще год работал со мной в Крыму: "В жизни есть что-то большее, чем бабы".

Пётр во сне дышит, недовольно бурчит на кого-то, машет руками точно так, как отгонял на хаосе летучих мышей. И отец их не жаловал. Подтыкаю под сына одеяло. Галстук душит, открываю ставни пошире — веселье графини теперь в залах дворца. Лакеи мечутся с подносами, за шторами сгорают сотни свечей. В Нижнем парке розы закрыты в бутоны, лавры еще дарят сладость, точно где-то арабские духи пролиты. Петина W-звезда смотрит свысока, выжидает. Закрыв глаза, слышу, как петляет по аллеям детский смех, платаны шепчутся с пальмами, корабли, полные народу, причаливают осмотреть то, что вырастил на скалах Шедар, сын Шедара.

Пишу Гартвису записку с просьбой завтра же прислать двадцать саженцев китайских веерных пальм. Задуваю свечу».

Нави

Вскрикнул лебедь, над хаосом носились летучие мыши — игривые, молодые. Как ласточки в то утро, когда Нави, окончив институт, вернулась из общежития к родителям. Ее комната, ее кровать, июнь, липы. Открыла окно настежь, уселась на подоконник и смотрела, как солнце высушивает на траве росу. Серебряное утро пахло березой, клевером, божьими коровками. Без завтрака ушла купаться на старый карьер — хотелось протанцевать всю дорогу к пляжу. Никогда не видела она такой уймы белых бабочек и толстых шмелей, никого не встретила по пути в такую рань. Иначе бросилась бы прохожему на шею. «Вот так, — думала Нави, — начинается счастье». Оказалось, это и было счастье. За пятнадцать лет такого дня больше не выпало.

Вдоль живых изгородей парка Нави пробралась к пальмовой аллее. Пальцы кололись о кусты лавра, юного, пахнущего сладко, по-восточному. Деревья поскрипывали на ветру, жаловались на старые раны, пока никто не видит. Луч фонарика скользнул по ней. Но не задержался. Шуршали опавшими листьями ежи, на башне хлопал флаг. Пробило полночь, она взъерошила волосы, вдохнула, шагнула за колонну в Чайный домик. Сегина не было.

У нее бывали минуты, когда все становится ясно. Навсегда. Ее первая любовь на рассвете колотил в дверь ее комнаты, вручил коробку в золотой фольге, сказал, что скоро они увидятся. Астрофизик, уезжал в экспедицию на все каникулы. Она помнила гаснущие шаги на лестнице общежития, спину в свитере с елками, скрип двери, закрытой за ним. «Это конец», — прошептала и испугалась. Соседка, голова в бигуди, отвернулась к стене.

Спустя час Нави спустилась к скале Айвазовского, туда, где парк выходил к морю. Наверху скалы ложбинка — легла, чтобы не заметили, камень еще хранил тепло ушедшего дня. Фонари на пляже давно погасли, лишь дальний маяк вспыхивал, как живой костер. Она проверила телефон в кармане, даже включила на нем звук, написала и не отправила сообщение. Перебирала причины, почему он не пришел, разрешала себе надеяться, что он заблудился и вот-вот появится. Он произносил крымские курорты нараспев, как иностранные слова: «А-а-лушта» и «А-а-лупка».

Кассиопея стояла над заливом, прямо над ней. Нави корила себя за все, что говорила невпопад, потом за все, что вообще сказала. Вслушиваясь в реплики, жалела, что не расспросила про Байкал, которого никогда не видела, про то, почему Сегин приехал в Крым и что же дальше.

Нави снились потоки магмы, бегущие лавиной к морю, сминающие дворец, платаны, пальмы. По пути магма застывала, обернувшись камнем, а тот с шипеньем скатывался в море. Как сгоревшая печеная картошка, которую она когда-то швырнула в ведро с водой. Для смеху. Проснулась, укрытая своим балахоном, на груди спал кот. Большой, пушистый. Вставала с болью — тело затекло, вспомнилось все несбывшееся. Натянула балахон, спустилась в Чайный домик, потом к выходу.

— Эй, ты! Хорошо, что пораньше явилась! Где твоя тачка-то? Как будешь убирать?

— Я?

— Кто ж еще? Жара такая с утра, прости господи, а нам все пальмы велели спилить к открытию.

Завизжала пила, рухнул первый ветеран. Мужчина, рыжий, с мясистым носом, всучил Нави огромные перчатки, велел пока уносить листву и ветви в яму.

— Прикопаем, полежит зиму под дождями-то, перегниет — на подпитку саду. Его ведь еще мой прапрапрадед закладывал. Знала?

— Шедар?

— Да не, крепостной, из Одессы, подмастерье вроде как. Шедар ему штаны, что ли, подарил, бабка рассказывала. Ну ладно, чего старое перебирать-то, дел много.

Рукба

Муж Рукбы, родом с острова Сахалин, там и служил. Она ездила за ним сначала беременная, потом с маленьким сыном. Помнила о той поре мало: скрипучие сдвинутые койки казармы, лед, который пробирался под чулки, от чего низ живота застывал холодцом. Всегда собранный чемодан. Из него полагалось достать что-то по случаю и, выстирав, выгладив, убрать назад. Чемодан до сих пор ей виделся: на двух защелках, коричневый снаружи, изнутри — обитый тканью в мелкую клетку. Когда она с ребенком на руках бежала в порт, чемодан со всеми отглаженными пожитками так в казарме и остался. Рук бы не хватило. Голова ребенка — горячая — лежала на сгибе ее локтя, судовой врач ставил пневмонию, их госпитализировали в Николаевске-на-Амуре, потом через Иркутск самолетом в Москву, к матери. Врачи рекомендовали Крым, пока легкие мальчика не окрепнут. По знакомству устроилась нянечкой в детсад в Алушке, там и осталась воспитателем. Муж приехать не мог. Высылал деньги, потом перестал писать, потом телеграммой запросил развод.

До выхода на пенсию с ней здоровалась вся Алушка: в единственном детском саду воспитывались поколениями. Она помнила своих соседей, братьев со лбами в точках зеленки, и то, как они сломали пластмассовый грузовичок ее сына: у одного в руке кузов, у второго — кабина, и оба ревут. Сын дружил со старшим, своим ровесником, младший увивался за ними. Плакал, злился. Он и затеял ту драку на проводах в армию.

Во сне Рукба видела, как волосы ее сына из светлых, пушистых становятся темными, курчавыми. Слышала запах хвойного мыла, когда сын впервые брился, намазывая подбородок ладонью, поджав, как отец, губы. «Надо купить помазок», — пробормотала она, не проснувшись. Видела его девушку, тоненькую, с двумя косами, они вдвоем накрывали на стол: в армию тогда провожали всей улицей. Оказалось, — отправляли в тюрьму.

«Да как же это... Как же?» — причитала Рукба, когда сына, ворот рубашки в крови, уводили с выкрученными руками. Соседские парни выглядывали из-за угла. Старший плакал, младший ковырял ногой камень у дороги. Из тюрьмы сын все рвался к отцу на Сахалин, до призыва часто про это толковал. После третьего побега его поймали в Иркутске.

Живот Рукбы во сне заледенел, она услышала детский кашель, будто бьют одну за другой тонкие фарфоровые чашки. Запахло молочной лапшой, старой мебелью, пленками — вот она, Рукба, уже седая, поправляя очки на носу, вела хороводом детей,

затянув песню. Останавливалась отдышаться. И тут же бросала детям мяч, приседала, улыбалась, доставала коробку, где пластилин всех цветов скатался в бурый ком, в котором изредка мелькали желтые пятна.

Дома над кроватью висят фотография сына и их общая: «Гляди, сынок, какая я была, и волосы вились». С прищипленного к ковру старого снимка сын пятьдесят лет смотрел на нее юными ястребиными глазами — черно-серыми. Цвет не вспомнить — в душном мороке сна лай распугал все краски. Рукба выбегает во двор — собаки треплют что-то, похожее на полущубок. Кот. Отбила, внесла его на руках домой — едва дышит, шерсть слева на голове потемнела от крови, ухо висит на ниточке. Смазывает раны водкой, дует, кот дергается бежать, но, ослабев, не может встать. Рукба поет ему колыбельную, а ее тело, забытое на лавке, странно, от плеча раскачивается в такт: «Звёздочки ясные, звёзды высокие! Что ж вы храните в себе, что скрываете?»

Сегин

Сегин осторожно ступал по волнистому шиферу крыши, раздвигая ветви с синими, жирными на вид фигами. Услышав хруст, встал на четвереньки и пополз к тому месту, где Рукба расковыряла дыру. На коленях джинсов остались пятна раздавленных плодов. Сегин злился, что влез в это, хотел скорее закончить, уже видел, как на руках выносит живого кота и идет в парк.

— Зови, мани его, детонька, — и прислушивайся. Мож, поскребется где.

Но под крышей было тихо. Сегин просунул руку в дыру, пошарил, постучал, позвал кота. Пожалел, что забыл телефон в номере, фонарик был бы кстати. Сел на доску, где вчера ночевала Рукба, разгорались звезды, Кассиопея начертила свои зигзаги.

«Ну, чего сидишь? Собрался-поехал. Решение надо принимать быстро», — Сегин вспомнил, как отец встал за его спиной, посмотрел страницу вакансии на мониторе. «Да у меня и образование не то, и опыта нету... Еще и в Ангарск переезжать». «Ха! Ангарск — считай, наш пригород. Я по всей Сибири мотался», — отец ушел, не дав ответить.

Быстрые решения, эффектные истории — отцовское начало. Сегину казалось, что так он и прошел через все выбоины жизни в новом городе: первая работа, первые отношения длиной в полгода, потом еще одни. Впрочем, пригодились и деньги, которые мать, обняв, положила ему в карман куртки: она всегда скручивала купюры трубочкой. Летом, когда он вернулся отметить свое повышение и они с отцом распили бутылку коньяку, оказалось, что главное решение в семье приняла мать. Врачи запрещали по состоянию ее здоровья, подруги говорили, что она молода, еще успеет, отец сомневался — впереди стройка, долгая экспедиция, а что если и правда, не спешить? Мать, бледная, ослабевшая после потери крови, сказала: «Буду рожать». Главный акушер Иркутска, строгий в белом халате, как обелиск, не смог ее вразумить. Сунул руки в карманы, вышел из палаты. Тюль надулся на окне пузырем.

Сегин подполз к отверстию в листе шифера, поднатужился, оторвал его целиком, двинул в сторону. Под ним черный пыльный чердак, полметра, не выше. Пролез, позвал, прислушался. Дополз на животе в угол, пошарил рукой в темноте. Доски под ним скрипели, майка задралась, живот что-то царапало. Кота под крышей не было.

Приладил шифер на место, слез с крыши. Рукба спала на лавочке, скрещенные руки запахнули потуже халат, голова свесилась на грудь.

— Эй, ты чего тут ошиваешься весь вечер? Внук, что ль? — мужчина в лихой кепке на затылке шипел из-за угла.

— А что?

— Ниче. Крышу еще продавишь. Подь сюды — потолкуем.

Сегин отряхнул майку, джинсы на коленях, подошел к террасе. Там на старой тахте спал второй, похожий на первого. На табурете возле него пепельница с горкой, бутылка, два стакана, на тарелке соленый огурец, проткнутый вилкой, надкушенный.

— Закопали мы кот-то. Нашли в понедельник вроде, он умирать ушел за забор. Что смотришь-то? Точно ваш, без уха, мохнатый, да лапа еще... Пнул — деревянный. Там и прикопали, под мальвами.

— А ей почему не сказали?

— Она не слушает, грит, нам спьяну блазнится. Третий день на крышу лазает. Расшибется ведь. Оно, мож, и пора бы. Да не по-людски. Ты уж скажи ей, лады? Куришь?

— Давай.

Сегин никогда не курил, так, баловался. Держал пачку — помогало, когда зуб ныл. В последний раз — два дня назад, как узнал про отца. Мать сама ему позвонила, рассказала, что ночь провела в полиции, в морге, на опознании. «Похороны завтра в восемь», — к концу фразы ее голос стал простуженным и далеким, словно убавили звук в динамике. Слов Сегин уже не разбирал и только кивал в трубку, нащупывая в тумбочке пачку сигарет. Потом уши залил до краев гром бьющегося стекла. Того журного стекла в их старой кухонной двери: волшебное, огромное, переливчатое, оно взорвалось, когда сквозняком дверь грохнуло о косяк. Он в шортах, надетых на колготы, не смея моргнуть, стоял перед тем, что еще недавно было дверью, а теперь — пустотой в раме. Духу не хватало коснуться осколка или просунуть руку в кухню насквозь...

Сегин, наконец, затынулся, с благодарностью посмотрел на сигарету, потом смял ее о стол, вышвырнул вместе с пачкой, сел за руль. Не заметил, как добрался до Иркутска. Бестолково колесил по городу, сторонясь родного двора, меняя радиоканалы. Ночью приехал в аэропорт.

За забором Рукбы качались две ветки мальвы, цветки закручены в ночь, цикада, испугавшись, примолкла. Горка суглинка, ржавого с серым, едва заметна в выжженной летом траве, но все-таки свежая, прижатая сверху плашмя лопатой, даже впадинка от черенка еще видна. Сегин смотрел на эту впадинку, усталость легла на плечи скалой, колени ослабели. Ночь уходила, стекала в море горечь. Сегин вспомнил, как совсем маленьким застал мать, красящую волосы: голова опущена, шея оголена, как перед палачом, к сливу бегут чернильные ручьи. Она закрыла дверь в ванную, щелкнула замком.

Рукба спала с неровным храпом: седина разметалась, рот приоткрыт. Сегин тряс и тряс ее за плечо. Он разбудит Рукбу, покажет холмик под мальвой, обнимет, разделив, если получится, горе надвое, и вернется в комнату над автовокзалом. Позвонит маме.